

**К**то-то в насмешку назвал этот поселок Привольным. Дома жались друг к другу как нахохлившиеся воробьи, грунтовые дороги были кривыми и упирались в кургузую главную площадь с одинокой бетонной стелой. Унылые куры бродили по поселку, периодически разгоняемые бродячими шавками.

На отшибе стоял дом скорби, где мне довелось прожить два месяца. Печально вспоминать о причине, которая привела меня в психиатрическую больницу, но не менее печальным было и мое пребывание в ней. Поэтому за глупость несостоявшегося самоубийства я заплатил сполна. Знаете ли, спать на спине, да еще привязанным к койке, весьма неудобно. Дебильноватые санитары пытались взбодрить меня, наставив синяков на плечах и позвоночнике, толкая меня ежедневно вдоль по коридору в процедурную. Я был ходячий больной, и мне полагалось самому добираться до спасительных уколов. Также я был обязан прогуливаться по двору, чтобы доказать обществу свою самостоятельность и способность жить дальше без присмотра.

В кабинете моего лечащего висели две иконы и зеркало. Иконы были глянцевые, только что подаренные при освящении скорбного дома. Зеркало было тусклым, по углам с него слезла амальгама. Из

зеркала на меня смотрел доходяга с синей странгуляционной бороздой на тощей невымытой шее. Глаза мои избегали зеркала и все тщетно шарили в поисках фанфырика. В кабинете доктора обычно пузырьки были пустые, оставалась иной раз надежда стырить фанфырик в процедурной. Но пузырьки со спиртом предумышленно прятали медсестры. Поэтому далеко не всегда я находил то, что желал. Однако ж найдя, горько расплачивался побоями санитаров.

Первый месяц раз в два дня доктор Безобразов вел со мной душеспасительные беседы, реализуя свою функцию врачевать не только тело, но и душу. Делал он это неумело и однообразно. Я кивал головой, через двадцать минут беседа угасала, и я возвращался в палату к слюнвявым братьям. Затем мы с Безобразовым даже как-то сдружились и вечерами часто играли в карты или пили чайный суррогат в его кабинете.

О том, чтобы бежать из скорбного дома, я даже не помышлял. Идти мне было некуда. Моя мать вряд ли обрадовалась моему неожиданному появлению, а в квартире жила моя бывшая жена. Своей любовнице, как выяснилось, я также не был нужен. В итоге складывалась престранная ситуация: вокруг меня было несколько близких мне женщин, а заботу обо мне, хоть и с казенным душком, проявлял совершенно чужой мне человек — скрытый алкоголик Безобразов.

Иногда в скорбном доме мне даже нравилось. Не надо было ничего делать и даже думать, не надо было выполнять план по статьям и заметкам, ходить на планерки, ездить в глухие села за интервью с долгожителями-скотниками или собирателями патефонных пластинок, писать очерки о святых библиотекарях и сидеть на заседаниях сельского поэтического клуба «Золотая лира». Не надо было метаться от одной бабы к другой, уже ничего не надо было.

С утра были процедуры, скудный завтрак с прозрачным несладким чаем. После процедур — обед. Жидкая каша и мутный суп с разваренными макаронинами, дабы поддержать затухающую, никому не нужную жизнь. Все это сдабривалось побудительными возгласами поварихи «Жрите молча, долбики».

После обеда наступал тихий час, мы лежали в койках, за исключением тех, кто предпочитал качаться из стороны в сторону или застывать в нелепой позе у стены. Тех насильно укладывали санитары, не забыв привязать к койке. Я же через три дня понял, что лучше лежать не привязанным, и затаился в продавленном матрасе, рассматривая санитарные бюллетени о пользе прививок и вреде лесных клещей.

После сна был полдник и прогулка в прибольничном дворике. В хорошую погоду.

Вечером ужин и просмотр телепрограмм в общем зале.

Поскольку мои скудные мозги долбили тяжелым фенотбарбиталом, я все время находился как бы в полусне и мало что помню, да и вспоминать особенно было нечего.

После двух недель моего пребывания в Привольном доктору Безобразову стало ясно, что убивать себя повторно в ближайшее время я не собираюсь, с чертями больше не беседую и даже помню азы карточной игры «Большой шлем», к которой Безобразов был большой охотник. А компанию нам составлял ушлый Правоторов-младший.

Правоторов-младший был помещен к нам в скорбный дом чтобы откосить то ли от армии, то ли от тюрьмы, мне не вполне было понятно. Одно было ясно, что он блатной и здоров как молодой лось. По крайней мере, мне так показалось при ближайшем знакомстве. Ни о чем серьезном мы не говорили с ним, тем общих не было. Бабы меня уже не интересовали, а его интересовали очень, спортом я не занимался, в отличие от него. Не знаю, умел ли он читать, я не спрашивал. Посему мы с Безобразовым быстро научили Правоторова-младшего отличать марьяжи и вести запись очков и коротали ноябрьские вечера втроем.

В один день за ужином Правоторов-младший рассказал мне, что посреди ночи он проснулся в палате и увидел сидящую рядом на его кровати старуху.

— Ей-богу, я чуть не обделался. Сидит такая старая шлендра в халате, блин, на голове платок, в руках что-то держит и смотрит прямо мне в лицо. Мычит что-то. Посидела-посидела, да встала и ушла. Елы, я чуть не обделался!

— Ну а ты не спросил, кто она, зачем приходила? — удивился я.

— Да ты чо! Я ж чуть не обделался, лежу себе и думаю — блин, смерть моя пришла. Баба страшная такая, спокойная такая и мычит что-то себе.

— Может, санитарка или медсестра? — спросил я.

— Не, я их уж тут выучил, морды срисовал. Нету такой.

— Может, приснилось? — не поверил я.

— Куда там! Я ж следом пошел за ней потом, увидел ее в конце коридора. Она свернула влево, отомкнула дверь под лестницей, да и на улицу вышла. Ночью, прям в халате и тапках. А под мышкой у нее что-то черное было, завернутое. Точно тебе говорю, убить меня хотела.

— Кабы хотела убить — убила бы, пока ты спал, — успокоил я его.

— Блин, я спать теперь боюсь, — жалобно сказал Правоторов-младший, — бате позвоню, пусть заберет меня на фиг отсюда. Хватит уже.

— Правоторов, это твоя совесть к тебе приходит, о грехах напоминает, — неудачно пошутил я.

— Надо у Безобразова спросить, что это за фигня такая, ходят тут, пугают до усера.

— Ну, спроси.

Не знаю, спросил ли Правоторов-младший у Безобразова что-то или нет, но к утру следующего дня в его палате умер совсем еще не старый сосед. Симонов, кажется. Тихий пенсионер, который жил в скорбном доме уже лет десять, так как дочь сдала его туда, чтобы под ногами не путался в двухкомнатной хрущевке. Ничем, вроде дед и не болел, а вытянулся в струнку на кровати, выгнулся затем дугой, выкатил глаза свои, да и застыл. Когда его утром обнаружил Правоторов-младший, то деду уже нечем было помочь, а вот Правоторов-младший выл волком, даже пришлось его обколоть. Я спросил у Безобразова, что с Симоновым, а тот только вздохнул да и ответил: «Время его пришло».

Однако Правоторов-младший вбил себе в голову мысль, что приходившая к нему накануне в палату бабка как-то причастна к смерти Симонова. И на прогулке в парке он не преминул мне об этом сообщить.

— Слышь, то она, стопудово, она. Я прям жопой чувю. Она деда пришла, — с горящими глазами сообщил он мне, — стопудово приходила, когда я спал, и пришла деда. Она и за мной придет.

— Та ладно тебе, — попытался успокоить его я.



— Я тебе говорю, прям жопой чую, — убежденно заявил мне Правоторов-младший и бодро зашагал в корпус столовой.

— Какой ты чувствительный, — невесело усмехнулся я и присел на скамейку.

Единственная аллея в парке была засыпана жухлой листвой. Скамейка была мокрая и скользкая. Идти на полдник было рано, в палату возвращаться не хотелось, я не мог надышаться ноябрьским воздухом и закрыл глаза. Меня всегда поражала тишина скорбного дома. Я всегда раньше думал, что больные кричат, бьются в конвульсиях, гоняют черных кошек, горланят песни. В нашем, первом отделении буйных не было, а второе отделение было за высоким забором, и что там происходило — мне не известно. Так что наслаждаться прогулкой мне никто не мешал.

Подремать на холодной скамейке мне не дал санитар с красивой фамилией Чупкало, вышитой на кармане его халата. Он резво взял меня под локоть и больно подтолкнул к крыльцу, приглашая закончить прогулку. Поднимаясь по ступенькам, я краем глаза увидел старуху с плоским лицом в синем форменном халате и косынке. В руках она держала большую черную кленчатую тетрадь. И смотрела неотрывно на Чупкало. Затем она покачала головой, раскрыла тетрадь и обкусанной шариковой ручкой что-то записала в нее.

На следующее утро я узнал, что Чупкало разбился на мотоцикле, выезжая из ворот больницы. Он столкнулся на пустой дороге с невесть откуда взявшимся автобусом, который, громыхая и повизгивая, вез бригаду артистов самодеятельности в нашу больницу.

И вот тогда мне стало жутко.

Жуть не отпускала меня и тогда, когда в коридоре больничного крыла расставили стулья, натянули две серые простыни, на которых пришили вырезанные из цветного картона кленовые листья, а престарелый председатель «Золотой лиры» Гусятников проникновенно читал стихи собственного сочинения про мозолистые руки хлеборобов и курлыкающие стаи журавлей. При этом председатель, выцепив меня зорким глазом из серой больничной толпы, как мне казалось, жадно меня рассматривал, пытаясь запомнить детали моего облика для пересказа в литературной гостининой сельской библиотеки.

На другой день повариха собрала с персонала мятые рубли для вспомоществования семье Чупкало, на обед дали овсяной кисель и морковные котлеты, чтобы мы помянули новопреставленного раба божия Дмитрия.

На прогулке ко мне снова подошел Правоторов-младший и без обиняков сказал:

— Я вчера в окне ту бабку видел. Которая ко мне приходила. О чем ты с ней говорил?

— Я? — с неподдельным удивлением произнес я.

— Ну ты, не я же. Стал, растопырился на крыльце и что-то обернулся к ней. А та стоит, кивает. А Чупкало тебя к двери тащит, — нетерпеливо сказал Правоторов-младший. — А Чупкало тебя к двери... тащит, — медленно повторил Правоторов-младший. И я увидел, как его глаза расширились от ужаса.

— Да ничего я ей не говорил, — сказал я торопливо и пошел прочь.

Самому стало не по себе, а о чем с перепуганным Правоторовым говорить — я не знал. Но у меня были вопросы к Безобразову, которые задать было хоть и

боязно, но надо. И потом, что мне грозило — двойная доза фенотербиталя?

Разумеется, к Безобразову я не попал, тот был на похоронах. А вечером был пьян в стельку и спал после поминок прямо на кушетке в коридоре, не дойдя до кабинета. И видел я, как волокли его две санитарки, тихо матерясь и посмеиваясь.

Наутро повариха снова накормила нас киселем, который остался от вчерашних поминок Чупкало, видно, свиньи поварихи не любили овсяного киселя. И жизнь потекла по обычному руслу. Гулять нас не пустили из-за обильного дождя со снегом. Я сидел в палате у окна, почесывая место укулов, и пялился на двор. Давно немые окна в разводах, пятнах застарелой краски и побелки были тем не менее заклеены полосками газет, а щели подоткнуты желтой старой ватой. Еще вчера я этого не заметил. И стал я думать о том, что уже почти зима, и что скоро новый год, и надо рисовать стенгазету в скорбном доме, о чем мне как-то напомнил Безобразов. От бытовых мыслей меня оторвал ворвавшийся в палату Правоторов-младший. Он бесцеремонно потащил меня за рукав больничной пижамы в коридор, громко пришептывая «Пойдем, пойдем». Не сопротивляясь ему, ибо я уже привык к тому, что в скорбном доме церемонии были не приняты, я был притащен кулем в палату Правоторова. Там я увидел вчерашнюю макабрическую старуху в форменном халате и косынке. Став на мощный табурет, она оклеивала бумагой окно, а половинкой ножниц засовывала в щели полоски ватина, вынимая его из кармана халата.

— Смотри, Костя, пришла, сволота старая, — торжественно произнес Правоторов-младший. Старуха, не обращая на нас внимания, продолжала оклейку окон, вытягивая вверх костлявые руки и демонстрируя старые шерстяные чулки в рубчик.

— Смотри, это она, убийца, — более уверенно сказал Правоторов-младший. — Спроси у нее, что ей надо.

— Да сам спроси, — неуверенно попятился я.

Старуха оглянулась на нас, взгляд у нее был вполне бессмысленный, глаза вскользь пробежали по нашим карикатурным фигурам, и она вернулась к своему мирному занятию.

— Глянь, у нее ножницы в руках, — сообщил у нее Правоторов-младший. — Надо отобрать.

— Да иди ты, — сказал я, — далась она тебе. Ну, клеит окна и клеит.

— Надо отобрать, — уверенно сказал Правоторов, но так и остался на месте.

— Это что за курултай тут? — зычно поинтересовалась сестра-хозяйка Галина. — А ну разошлись по палатам. Устроили тут курултай. Работать людям не дают. — И уже обращаясь к старухе, сказала: — Верка, заканчивай тут, еще в трех палатах клеить.

Верка грузно прыгнула с табурета, и в этот момент к ней бросился Правоторов-младший, чего я совсем уж никак не ожидал. Он ловко завел старушечью руку за спину и вырвал из ее рук ножницы. Верка глухо застонала. Сестра-хозяйка Галина оттолкнула меня с силой, так что я завалился на койку Правоторова, и бросилась на помощь Верке. Но Правоторов-младший был не лыком шит. Он схватил Верку за плечи и стал ее трусить как грушу, приговаривая: «Что, сука? Ну что, сука?» Я захохотал истерическим смехом от бессмысленности всего происходящего. Подбежавшие санитары уволокли Правоторова-младшего, который, захлебываясь в возмущенном крике, вырывался и кусался. Сестра-хозяйка, обняв растрепанную старуху, почти нежно вывела ее из палаты. И я остался на койке Правоторова-младшего, все еще глупо хихикая, пока взгляд мой не упал на черную клеенчатую тетрадь, лежавшую на полу. Проворно вскочив, я подобрал ее и сунул под пижамную куртку. Я считал себя обладателем сокровища, рукописи, найденной в Сарагосе, тайных протоколов сионских мудрецов. Тогда я не отдавал себе отчета в том, что этой тетради суждено еще сыграть свою роль в моей жизни.

Разумеется, тетрадь искали, перерыв всю палату Правоторова и мою заодно. Обыскали и меня. Растрепанная полубезумная старуха носилась ураганом, ища пропажу, бессвязно бормоча что-то под нос. Недоумевавшие санитары смотрели со стороны, посмеиваясь. Сестра-хозяйка беззастенчиво обыскала меня. Ничего не найдя она кричала в лицо Верке:

— Да успокойся ты, нету твоей тетрадки, иди ищи в сторожку, там ты ее обронила.

Я прикидывался дурачком и тарасил глаза. Тетрадь была надежно спрятана в столовой за батареей. Я просто ждал момента ее прочесть, ждал ужина. За батареями век никто не вытирал и не убирал, среди пыльных лохмотьев клеенчатая тетрадь уютно поджидала меня.

Перед ужином ко мне подошел Безобразов. Он не смотрел мне в глаза, небритое лицо его было встревожено, а костистая лапа почесывала подбородок.

«Мнэээ, Константин... — задумчиво произнес Безобразов, — ...не видели ли вы такую вот тетрадку, хозяйственную, для учета инвентаря. Вера Адольфовна потеряла ее. Мнэээ... Очень нужно, понимаешь ли ты, найти».

— Да нет, не видел, да и санитары ее искали, не нашли. Не знаю, — честными глазами посмотрел я на Безобразова.

Но он неожиданно приблизил свое лицо, пахнувшее перегаром к моему лицу, и сказал очень четко:

— Вересов, тетрадь надо найти и вернуть.

Потом еще посмотрел на меня пристально и удалился быстрыми шагами, заложив руки за спину.

Я решил повременить вытаскивать тетрадь из-за батареи, и еще дней пять она лежала там, смущая меня. И каждый вечер в палатах нашего корпуса шел обыск. Верка, теперь я уже знал, что это Вера Адольфовна, искала свою пропажу, сердито и злобно поглядывая на каждого из нас. И никто из пациентов не осмеливался в ее присутствии пошутить по этому поводу. Игры в «Большой шлем» прекратились. Правоторов-младший был переведен в палату интенсивной терапии, приезжал его отец, что-то бурно обсуждалось в кабинете Безобразова, но что — для меня оставалось загадкой. Но Правоторова-младшего вскоре перевели во второе отделение, к буйным.

Странная тетрадь мучила меня, а совесть, как ни странно, не мучила. Наконец, в субботний вечер после ужина, когда пришла моя очередь дежурить по столовой, то есть протирать столы мокрой вонючей тряпкой и собирать посуду, я улучил момент и вытаскивал тетрадь из-за батареи. Я незаметно сунул ее под пиджамную куртку. А ночью при свете луны развернул ее на подоконнике палаты.

То, что я прочел в тетради, меня удивило и поразило. Я не мог найти тому объяснения.

Первые страниц двадцать содержали в себе довольно бледные и выцветшие записи пером и чернилами, потом были записи химическим синим карандашом, затем шариковой ручкой. Всего было заполнено только двадцать страниц толстой тетради. Первая запись была такая: «Мериносов Тимофей Гаврилович, 12 октября месяца одна тысяча девятьсот пятого года от Р.Х. Тиф». Потом было несколько фамилий довольно странных: «Беглов Парфен Мамонтович, 13 октября сего года (зачеркнуто), одна тысяча девятьсот пятый год от Р.Х. Тиф», «Ельшев Степан Федорович и Ельшев Федор Федорович, истопн. 13 окт.». Быстро пролистав записи, я наткнулся на первую пометку чернильным карандашом: «Ходаева Марфа Петровна, девица Крутикова Софья Афанасьевна и младенец Юрий, зараз трое. Сосуля. Шестаго марта осьмнадцатого года».

Часть записей была совсем нечитаема. Подряд густо и убористо были написаны имена и фамилии неизвестных мне людей с небольшими пометками. Непременно была написана дата, проставленная римскими цифрами или прописью, крупными и четкими буквами. Просматривая записи, я увидел знакомые фамилии: «Симонов Леонид Викторович. Ишемич. инсульт. 2 ноября одна тысяча девятьсот девяносто второго года», и следом — «Чупкало Дмитрий Арсеньевич». Дрожащими руками я перевернул последний лист и увидел, что последняя запись гласила: «Переезд. Коломна». Никакой инвентарной описи в тетради не было и в помине, и мне стало очень страшно, я захлопнул тетрадь и спрятал ее на животе под

курткой, после чего лег спать. Но заснуть мне не удалось, в голову лезли странные и страшные мысли.

А наутро, сразу после того, как я спрятал тетрадь в столовой за батареей, я получил телеграмму от старинного приятеля Геры Хлебникова, который сообщал мне о том, что он приезжает меня навестить. Оказывается, телеграмма пришла еще позавчера и валялась в кабинете Безобразова. В нашем скорбном доме пациенты не получали ни телеграмм, ни писем, хотя писали сами их в избытке. И потому Безобразов попросту не знал, что делать с телеграммой. Не отразится ли ее получение на моем состоянии здоровья, вернее, нездоровья, позволено ли мне получение корреспонденции. Поразмыслив, Безобразов лично вручил мне телеграмму и сказал: «А сегодня и сам Хлебников ваш приедет. Выписать вас, что ли?» — и пытливо посмотрел мне в лицо. Я пожал плечами, скрывая волнение, и сказал с деланным равнодушием: «Ну, решайте сами». Я вернулся в палату и стал ждать встречи с Герой, одновременно гадая, откуда ему известно о моем пребывании в скорбном доме и зачем он приезжает меня навестить, если мы с ним, почитай, уж десять лет никак не контактировали. Моя жизнь переставала казаться скучной и унылой. Я был в эпицентре циклона.

Геря Хлебников приехал после обеда. Он долго рассаживался в кабинете Безобразова, распивая с ним коньяк. Колбаса была толсто нарезана, балык сочился слезой. Красная рыба пахла на все отделение. Я недоумевал в своей палате. Потом был приглашен к лечащему в кабинет, к остаткам пиршества, под очи пьяного Безобразова и пугающе трезвого Хлебникова.

— Привет, старик, — радостно поприветствовал меня Хлебников и потряс мою холодную руку своими горячими и пухлыми ладошками.

Он хлопнулся в продавленное кресло, указав на стул рядом с собой. Я сел, не стесняясь, соорудив себе бутерброд под одобрительные возгласы Хлебникова и стал жевать, поглядывая на Безобразова. В комнате плавали клубы сизого дыма. Безобразов лыбился, уютно опьянев.

— Вишь, старик, — на той же мажорной ноте продолжил Хлебников, — молодость вспоминали с Михаилом. Мы с ним в волейбол вместе играть бегали в Одинцово, клуб там был такой «Водник». Неплохо, кстати, играли. Да и к девчатам вместе бегали будь здоров.

Безобразов кивал и лыбился. Он был уж сильно пьян.

— Выписывают тебя, — тараторил Хлебников так же весело, — здоров ты уже, готов, можно сказать, к труду и обороне, на благо, так сказать страны и общества, и в целом даже ничего себе. Я вот узнал от Гусятникова, что ты вот попал в Привольное. Были тут «Лировцы» с концертом, у Гусятникова прямо сердце кровью обливается, с тех пор как он тебя тут увидел.

Решили вот помочь собрату по перу (на этом месте я невольно поморщился), пристроить тебя, новую жизнь начнешь.

Хлебников подливал мне водку в стакан, кидал на батон шпротины и весело совал подачку в мои костлявые пальцы. Я захмелел от выпитого и от счастья, которое внезапно нахлынуло на меня. «Есть же люди! — думалось мне. — Вспомнили меня, болезного, в беде не оставили. А я еще на Гусятникова пыхтел что-то. А он человек, человечеще просто. Увидел меня, а не позлорадствовал, посочувствовал. Хлебникова вот нашел, уговорил меня забрать».

— Гера, а куда я поеду-то, жить-то мне негде, — спросил я на волне любви ко всем живущим.

— Да не парься, старик, перекантуешься пару дней у меня, потом пристрою тебя в «Шинник», пока внештатно или на полставки, потом в отдел писем. Общагу там быстро дадут. Не дурак будешь — пойдешь дальше, у нас оно знаешь как. — Гера доверительно подмигнул мне, налил себе на треть стакана и с удовольствием крякнул.

Я пил и ел вволю, радуясь своему нечаянному счастью. Ведь не надо ничего решать, ни о чем думать, нашлись добрые люди, устроят мою судьбинushку. Постепенно набравшись, я уже не помнил, как меня одевали санитары, всучивали выписку и документы. Во дворе урчал узик, я пристроился на заднем сиденье и сразу же заснул. Посреди дороги меня словно

кто-то толкнул в бок, и я проснулся. Узик трясся по лесной дороге в полной темноте, только метра три впереди освещались его фарами.

— Эх, — хриплым со сна голосом сказал я в тревоге, — с человеком одним я не попрощался. Мы с ним нормально так общались.

— С Правоторовым? — отозвался с переднего сиденья Хлебников. — Ничего, встретишься еще.

— Как это? — удивился я, но Хлебников шумно зевнул и ничего не ответил.

— А! — вскрикнул я. — Вещь я одну забыл, важную, вернуться надо.

— Нет, не надо, — веселым смехом отозвался Хлебников, — ничего ты не забывал.

Я лихорадочно пошарил по сиденью и нашел свою болоньевую торбу, с которой приехал в больницу. Порывшись среди мягкого хлама, я нащупал мятые углы клеенчатой обложки. И стало мне страшно, жутко и захотелось выть не зная от чего. То ли от того, что понял я, что еду я не к Хлебникову в квартиру, то ли от того, что он знает об этой тетрадке и ее таинственном смысле что-то, чего не знаю я, то ли от того, что жить мне осталось не так уж много на этом свете.

— Да ты спи-спи, подреми, до Коломны ехать недалеко, к утру только доедем, — посоветовал Хлебников и сонно засопел.

В Коломне было снежно, холодно и очень солнечно. Именно такую погоду я любил, в другие времена



я бы радовался переезду, смене обстановки. Но я был хмур, как типичный ноябрьский день. Уазик подъехал к спортивному залу, весьма обшарпанному, но со свежей пристройкой сбоку, куда меня под руку ласково завел мой приятель Хлебников. Несмотря на раннее утро, в пристройке было жарко натоплено, был накрыт стол с богатой закуской и водкой. Сидел тучный господин в черном костюме и второй толстяк в костюме поплосше. Во втором субъекте я узнал Правоторова-старшего, который мне кивнул. Тучный господин указал ладонью на стул напротив, поздоровался с Хлебниковым очень радушно и сказал мне напрямик:

— Константин Александрович, я вас категорически приветствую. (Все вокруг заулыбались, видимо, это была дежурная шутка.) Меня зовут Андреем Денисовичем и я хочу взять вас на работу.

Я оглянулся на Хлебникова, который стоял позади меня. Хлебников на меня не смотрел, а с очень деловитым видом чистил свои ногти спичкой.

— А какая, собственно, работа и что за конспирация такая? — неуверенно спросил я.

— Работа необычная, — сказал Андрей Денисович, — научная.

— Научная? — усмехнулся я. — Не ожидал. Гера вон меня в «Шинник» пристроить обещал, — было продолжил я, но по взгляду тучного господина понял, что мои претензии вовсе неуместны.

— Да, работа научная. С архивами. Историческими, медицинскими. Работа с документами, — с нажимом пояснил Андрей Денисович, а Правоторов-старший покивал утвердительно, — вы поселитесь на квартире, вам укажут. Условия вполне удовлетворительные. Инструкции получите позже от Хлебникова. Мне нужно принципиальное ваше согласие. Ничего незаконного вам тут предлагать не будут, но о работе своей никому, кроме здесь присутствующих лиц, вы говорить ничего не должны. Добытую информацию вы будете сообщать только мне, — продолжил Андрей Денисович, а Правоторов-старший покивал удовлетворительно.

— Почему я? — спросил я, хотя ответ смутно маячил передо мной.

— Скажу без обиняков. Потому что вы грамотный, исполнительный и трудолюбивый человек, я навел о вас справки в газете, по прежнему месту работы.

Хлебников ободряюще похлопал меня по плечу сзади, чем еще сильнее напугал меня.

— Работать вы будете в паре с одним молодым человеком, его зовут Витя. Он будет вас повсюду сопровождать, решать текущие вопросы, обеспечивать вашу безопасность.

— И сторожить? — улыбнулся я.

— Да, вы все правильно поняли, Константин Александрович. Вопросы ко мне есть?

— Да вроде нет, — пожал плечами я.

— Что же ты, старик, про зарплату не спросишь? — защелбетал Гера Хлебников.

— Кстати, Константин Александрович, об оплате вашего труда мы и не поговорили. Вы какую заработную плату хотите? — поинтересовался тучный господин.

— Как у научного сотрудника РАН, — съязвил я.

— Эх вы, батенька, — заулыбался Андрей Денисович, — так, пожалуй, и с голодухи помрете.

Присутствовавшие в комнате услужливо засмеялись.

— Ладно, заработком своим будете довольны. Инструкции получите завтра. Сегодня отдохните, завтра Гера приедет к вам. Вручит «редакционное задание», — подмигнул Андрей Денисович.

Все встали, словно демонстрируя, что разговор окончен.

«Вот сволочи, — подумал я, — ну я и попал».

Гера повел меня к двери под локоток, а Андрей Денисович сказал:

— Тетрадь-то отдайте сюда. Сохраннее будет.

С этими словами Гера ловко выхватил мою боковую сумку из моих рук, вытащил клеенчатую тетрадь и передал ее Андрею Денисовичу.

Квартира, на которую меня привез Гера, была чистенькой двухкомнатной сталинкой. В ней было тепло, но пахло нежилым. В квартире меня уже ждал шкафообразный парень в новехоньком спортивном костюме, плоскомордый и плосконосый. На левой щеке у него был аккуратный длинный шрам.

— Витя, — представил мне охранника Гера.

— Ну, здравствуй, Витя, — сказал я, но руки не подал.

Витя что-то буркнул и продолжал сидеть, вытянув ноги в белых кроссовках.

— Я вас оставляю, приду завтра часиков в девять. Продукты в холодильнике, выпивка то да се, только, Костя, не увлекайся, Андрей Денисович этого не любит.

— Гера, ну мне хоть скажи, что происходит, — чуть ли не взмолился я.

— Костя, — серьезно посмотрел на меня Гера, — я сам мало что знаю. Меньше знаешь — крепче спишь. Одно понятно — ты попал в обойму. Мощные люди тобой заинтересовались, так что цени, мне потом спасибо скажешь, старик. — С этими словами Гера похлопал меня по спине и удалился.

А я поселился в квартире с неразговорчивым и угрюмым Витей.

Со временем я узнал, что Витя имеет кличку Сова, странную производную от фамилии Савельев, бывший детдомовец, охранник Андрея Денисовича Кукулина, главы администрации города Коломны. Трудо-

устроен я был в газету «Шинник», откуда мне два раза в месяц приносили ведомости на аванс и зарплату. Деньги же я получал в конвертике, приличную сумму, чтобы почувствовать себя человеком. Работа моя была непьющей, и я скоро привык к тому, что меня повсюду сопровождал Витя. Сова девчонок не водил, водку не пил и у меня отбирал лишнее, поскольку это мешало моей работе. А работа моя была такова: я должен был установить личности всех поименованных в черной тетради, найти о них все, что только возможно. Для этого я ездил в районный и областной архив, листал подшивки газет, неоднократно побывал в двух краеведческих музеях. Мне даже привозили истории болезни из архива скорбного дома. Через полгода я имел довольно полную картину жизни умерших обитателей скорбного дома Привольного. Но это ни на миг не приблизило меня к тому, зачем я собираю информацию и что потом с ней следует сделать. Ночами мне снились бесконечные мутные сны про Беглова Парфена Мамонтовича, умершего от тифа, девицу Крутикову Софью Афанасьевну, оболыщенную заезжим торговцем и родившую во грехе младенца Юрия, убитых упавшей сосулькой с крыши больницы. Мне снился Чупкало, уместившийся в седле мотоцикла и приветливо махавший мне рукой, приглашая сесть позади.

С Витей я почти не разговаривал. Не о чем было. Хлебникова видел редко, а Андрея Денисовича — раз в месяц. Прошло полгода, и я уже начал томиться в предчувствии недоброго, потому что моя странная научная работа подходила к концу. Куклин меня к себе не вызывал, все записи у меня забрал, и последние пару недель я томился в безделье.

В один из дней начала мая, когда сады еще не начали прихорашивать, я возвращался в компании Вити из поликлиники «Шинника», так как проклятый гайморит доконал меня совсем. В конце парка я столкнулся с уныло бредущим доктором Безобразовым. Я не сразу узнал в этом сутулом старике своего лечащего.

— Александр Романович, — радостно окликнул я Безобразова, — ну, здравствуйте, друг мой.

Безобразов вздрогнул, словно проснулся от тягостного сна, и посмотрел мне в лицо, поначалу не узнавая. Постояв недолго, он ослабил. Желтые кривые зубы в недоброй усмешке обнажились на мое приветствие.

— Здравствуй, висельник, — хрипло засмеялся он. И я уж пожалел, что остановился с ним. Сова спокойно наблюдал за нами поодаль. — Как живешь, скольких угробил уже? — продолжил он.

— Бог с вами, Александр Романович, — сказал я с некоторым недоумением, — о чем вы?

— Чем занят, где работаешь? — продолжал Безобразов.

— В газете работаю, обозревателем, в «Шиннике», — продолжал уверенно врать я, хотя сердце сжималось в недобром предчувствии.

— Ну, спасибо тебе, избавил меня от наследства неожиданного, — усмехнулся Безобразов и, качая головой, продолжил: — Вера Адольфовна померла недавно, вот схоронил я ее, матушку мою. В Коломне пожелала упокоиться, где и родилась. Отмучилась, сердечная.

— Так Вера Адольфовна была вашей мамой? — беспомощно прошептал я. — Да как же это?

— Была, — вздохнул Безобразов, — а теперь уж похоронил ее, — повторился он. — Бывай здрав, больше не вешайся, — сказал он печально и потопал прочь.

«Да что за бред, — удивлялся я. — Что он нес? Что за мать, что за виселица, что за чушь? Видно, свихнулся совсем со своими психами», — думал я, глядя вслед удаляющейся сутулой фигуре. И понимал, что не бред это вовсе, и мне очень надо поговорить с Хлебниковым. Беда только в том, что я совсем не доверял Гере.

— Витя, слышь, надо позвонить Хлебникову, пусть вечером приедет, надо обсудить один вопрос, — обратился я к Сове, который топтался поодаль с хмурым видом в промокших кроссовках.

— Чо за вопрос, не вопрос вабче, — сказал Витя и достал из кармана мобилу. Набрал номер, он буркнул: — Слышь, приедь седня, перетерка есть. Угум. Сделано, Вересов, — отрапортовал Сова. — Домой идем, ноги я промочил. Падла, кроссы за три куса, а мокрые, как плоскодонки.

— Ну пойдем, — вздохнул я, удивляясь безыскусной образности свиного языка.

Вечером с Хлебниковым разговор получался скудным. Вообще, за время моего рабства у Куклина Хлебников сильно изменился. Он стал настороженным, как собака, которая ждет крика «ату». Появилось нервное подергивание шей, беспорядочные жесты, словно он перебирал что-то в карманах. Разговаривал он односложно, боясь сказать лишнего, а слушал, напротив, тщательно. Общение с ним меня напрягало донельзя, но он был единственным, кто мог пролить свет на ситуацию. Я рассказал Хлебникову о встрече с Безобразовым, Гера покивал головой, пожевал губами, но продолжал молчать. Вконец доведя меня до злости, Хлебников собрался уходить. Но я не выдержал, схватил его за плечи и хорошенько встряхнул:

— Нет, Герка, никуда ты не пойдешь, пока все не расскажешь.

Я потащил его в кухню под хохот Совы, где силой усадил на табурет и заставил выпить стакан водки. Герка хлюпнул носом, заел соленым огурцом, помолчал и сказал:

— Ладно, дурак, расскажу я тебе. Если сам не догадался, дурак ты эдакий. Пеняй потом на себя.



То, что рассказал мне Хлебников, так или иначе уже носилось в моей голове в виде догадок, а если присовокупить к тому сегодняшнюю встречу с Безобразовым в парке, то складывалась такая мозаика, что ой-ой-ой...

— Пойми, старик. Это страшная тетрадь. Дьявольская. Не смейся, не смешно это. В нее записаны людские смерти. Смерти всех тех, кто жил в скорбном доме или приезжал туда. Ты, наверное, уже убедился, что некоторые в Привольном никогда не жили. Они становились жертвами, когда приезжали туда. Кто-то записывал их имена в тетрадку, а они вскорости умирали. Кто и зачем это делал — дело десятое. Важна сама тетрадка. Все они умирали не позднее суток. Сам уже это понял на примере Чупкало. Тетрадь эта большой силой обладает. Теперь, когда ты уже установил, кто были эти жертвы, не составляет труда понять, что все они были случайно выбраны. Случайно записаны. А кто их выбирал, зачем? — Гера глубокомысленным пьяным взором заглянул мне прямо в душу. Пойми, старик, если выбирать не случайно, а целенаправленно? Целенаправленно! Тем более что самому дьяволу угодно, чтобы эта тетрадка переехала в Коломну. Видел запись? «Переезд в Коломну».

— Гера, теперь Андрей Денисович будет решать, кого выбирать целенаправленно? — спросил я с усмешкой.

— Он или другой... Какая разница. Кто сильней, тот и будет.

— Так надо же уничтожить ее? — убежденно спросил я.

— Попробуй, — усмехнулся Хлебников, откусывая сочащийся рассолом огурец. — Что же ты раньше не уничтожил? Хранил, прятал. Дурак.

— Да я не знал, — вздохнул я.

— Ну-ну, — подтвердил Хлебников. — Да все ты знал.

Затем Хлебников встал, вытер мокрые руки о мою рубашку, поплелся в коридор и стал надевать ботинки, но не попадал в них.

— А кто записывать-то будет? — спросил я напоследок.

— Назначат кого-нибудь. Кто захочет палачом-то быть? Судьей всем хочется, а палачом-то никому, — неприятно засмеялся Хлебников и хлопнул дверью.

Три дня я пил, изредка просыпаясь, чтобы продолжить пьянствовать. В пятницу утром Витя Сова затащил меня в холодный душ, попутно матеря от души. Нас вызывал к себе Андрей Денисович.

Мы приехали в тот же спортзал, где и была наша первая встреча. Но на этот раз ни накрытого стола с закуской, ни приятеля моего Хлебникова не было. А были там Куклин и, чему я очень удивился, Безобразов.

Витя бесцеремонно втолкнул меня в комнату и сказал:

— Здравствуй, шеф. Пил три дня этот. Вот чуток вытрезвись.

Андрей Денисович посмотрел на меня хмуро и немного брезгливо.

— Поговорите с Александром, я сейчас вернусь, — сухо сказал он и вышел из комнаты.

Витя вышел следом. Я сел напротив Безобразова и заметил, что он дрожит мелкой дрожью. Вначале мне показалось, что это зеленый змей его колотит, но от лечащего не пахло.

— Холодно мне, — сообщил жалобно Безобразов, — в могиле я словно. И черви, черви меня едят.

— Успокойтесь, — сказал я и невольно подумал, что мы поменялись с Безобразовым местами.

Сначала в скорбном доме он меня призывал к спокойствию, а теперь вот я его.

— Костя, слышишь, они нас тут тестируют. Мы фамилии пишем в тетрадку, каждый по одной фамилии, а наутро записи все пропадают, а никто не умирает. Одну фамилию уже шесть раз писали, не умирает, хоть ты тресни, — сказал Безобразов и захихикал, продолжая трястись.

Я сел и обхватил голову руками. «Боже ты мой, — подумалось мне, — неужели мне доля такая выпадет — палачом быть?» В голове носились мысли беспорядочным роем. «Бежать, прятаться, торговаться, усыпить бдительность, сжечь тетрадь...» А Безобразов продолжал что-то бормотать. Тихо бормотать, покачивая головой. Из чего я разобрал только: «Мама моя, Верушечка, покойница дорогая, царствие небесное в ангелах-архангелах, сидела-записывала всю жизнь, да и тетка ее записывала, а у той тетки — дед записывал. И все тетрадку берегли, да все представились. А она не уберегла, и бог прибрал ее. Да зачем же мне такое горе, напасть такая, зачем же мне эта тетрадь...»

— Безобразов, слышишь, ты записывал кого-нибудь? — стал тормошить его я, трясти за плечи.

Но лечащий продолжал причитать, бормотать и похихикивать. Странно и страшно. Я не унимался, пытался до него докричаться.

— Безобразов, слышишь меня? Ты записывал уже? — повторял я.

И только моя пощечина вывела Безобразова из этого состояния.

— А? Я? Нет, я никогда не записывал, мать из рук тетрадку не выпускала, спала с ней, ходила с ней везде. Говорила, что у нее там инвентаризация, проклятая инвентаризация. Я и не трогал тетрадку, и смотреть ее она не давала. А сам догадался, только скрывал все, боже упаси.

— Да нет же, — нетерпеливо спросил я, — ты по просьбе Куклина фамилию записывал?

— Записывал, — засмеялся дробным смешком Безобразов, — наутро фамилия пропала. Куклин полез

в сейф за тетрадкой, тетрадка на месте, лист в ней на месте, а фамилии нет.

— Что за фамилия была? — стал допытываться я, но Безобразов только смеялся и трясся.

Я сел рядом и молча усталился в пол.

Из ступора вывел меня Куклин. Оказывается, он вошел в комнату и стоял в дверях.

— Твоя фамилия, Вересов, — сказал он спокойно.

— Моя? — встрепенулся я. — Моя фамилия? А меня-то за что?

— Не за что, а почему, — ответил мне также спокойно. — Проверял я. Много фамилий писалось в тетрадь, разве ж твоя только... Все записи пропадали. Или в тот же день, или наутро. А люди не пропадали. Живые все.

— Время их не пришло еще, время не пришло! — встрепенулся Безобразов.

— Может, и так, — рассудительно продолжал Куклин. — Только нам ждать некогда, когда у кого там время придет. Нам надо здесь и сейчас, в крайнем случае завтра, а лучше, чтобы вчера.

— Так что, наугад будем фамилии писать да тянуть сюда всех подряд, чтобы записи делали? — с насмешкой сказал я.

— Фамилии писать будешь ты, так что никого тянуть больше не придется, — сообщил мне с неким торжеством в голосе Куклин. — Вера Адольфовна умерла, тетрадь свою она потеряла. Так что Александр Романович способностей записывать в тетрадь не приобрел. Он уж у нас пять человек записал, а тем хоть бы что, да и записи чудесным образом пропадают, — продолжил Куклин, ласково похлопав Безобразова по плечу, — тетрадь нашел ты, стало быть, тебе и писать. Потому что ты у нас теперь инвентаризатор.

Безобразов захихикал, откинулся назад, трясясь и качаясь. Его глупое хихиканье постепенно перешло во всхлипывание, а затем и в плач.

Я стоял в холодном поту и взирал на Куклина, плачущего Безобразова и незаметно появившегося в дверном проеме Сову. Этого не могло происходить со мной, этого не должно было происходить со мной! Мне хотелось быть тургеневской барышней, упасть в обморок и очнуться где-нибудь в цветущем саду на скамье, в щелоте канареек и соловьев. Но в обморок я не падал, а вместо этого меня вырвало прямо на брюки Куклина.

Сова наказал меня за это, прибыв на квартиру, он бил меня больно, но аккуратно. Да не в обиде я на Сову, работа у него такая. Только записал я его в тетрадь...

Это была моя третья запись. Записал его без ведома Куклина, Куклин к окошку отвернулся, а я взял

да и записал. И помер Сова в тот же вечер, был избит неизвестными возле бара «Синяя лагуна».

После этого случая Куклин стал хранить тетрадь в особом сейфе. Охранника ко мне больше не приставлял. Да куда бы я делся? За Сову меня ругать не стал, но посмотрел в лицо пристально мне, словно с печалью. И понял я, что места своего мне забывать никак нельзя, я не Господь Бог, не судья, а простой инвентаризатор.

\* \* \*

В должности инвентаризатора я работаю до сих пор, начальство меня ценит и даже, можно сказать, побаивается. Про тетрадь заветную никому я ничего не рассказываю, потому что от природы я скромнен и даже застенчив. Да и немного мне надо, пища отличная, выпивка и того лучше. Живу в отдельной квартире, с видом на Чистые пруды. Забыл сказать, что переехал в Москву недавно совсем. На одном месте засиживаться ценному работнику никак не пристало. Не по чину это — в провинции век мыкать. Куклин не препятствовал переезду, потому что вниз головой да в бетонном колодце не слишком получается препятствовать чужим волевым решениям.

Передали меня, как красный вымпел, дальше, по инстанции. Двадцать лет уж инвентаризирую, поседел совсем. Тетрадь заполнилась уже на треть. Знакомых в ней фамилий мало, да и не вникаю я в это. Ручку завел себе особую, «паркер». Дело ответственное, обставить его тоже надо в надлежащем виде.

«Инвентаризированные» меня не преследуют, вопреки моим ожиданиям. Сова только иногда смотрит укоризненно из моих снов. Может, это потому, что именно его я по своей инициативе записал? Иногда во сне вижу свою мать, но всегда улыбающуюся, молодую. Мы катаемся с ней на лодке по узкой речушке. Она поет песню, и синий поясok платья трепещет на ветру.

На похоронах у нее я не был, не пустили. Памятник, однако, установили ей хороший, мраморный, в виде арки с колокольчиком. Когда поднимается сильный ветер, колокольчик гулко звенит. Я себе так это представляю.

Из старых друзей и знакомцев переписываюсь только с Безобразовым. Зайду, бывало, на почту, спрошу, есть ли письма мне, а почтальон головой помашет. Мол, нету. А я все равно ему пишу, знаю, что живой еще и ждет писем моих. Пишу о погоде, о новых постановках на Таганке, о том, как купил томик хокку в переводе Веры Поповой. Не о новом же начальстве мне писать...